



НА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Из записок графа

Николая Алексеевича Бобринского

Мой отец был человеком старого закала, очень характерным для определенной эпохи и определенного круга. Это была цельная натура, что так типично для Бобринских вообще. Военным он стал случайно, в связи с войной, но нашел в этом свое призвание и, как не раз говорил, остался бы в армии, не случись революция. У отца было Золотое Георгиевское оружие и два Георгиевских креста. Его записки о войне, хотя к сожалению, и отрывочные, дают представление об участии отца в боевых действиях. Во время октябрьского переворота отец был в Москве, но в боях с большевиками не участвовал, не желая, как и многие офицеры, сражаться за Керенского, которого называли «мерзавцем» и «паяцем». В 1941 году отец снова хотел пойти на фронт добровольцем, но его не взяли по возрасту. Зато он деятельно участвовал в противовоздушной обороне Москвы.

гр. Н.Н. Бобринский

НАЧАЛО



Всю весну 1914 года я провел в Бухарском ханстве в качестве зоолога при почвенной экспедиции, собирал птиц для профессора Мензбира - я кончил университет и готовился к последним экзаменам. В начале лета поехал в Москву, и в поезде студент-попутчик сказал мне, что прочитал в газете об убийстве каким-то сербом эрцгерцога Фердинанда. Я не придавал этому значения и даже, помнится, сказал: «Какое нам дело до австрийского наследника!».

Из Москвы я поехал в Киев, там простудился и провалялся несколько дней в постели. Только выздоровев, услышал однажды шум на улице, вышел из гостиницы и увидел, что везде ходят толпы с пением «Боже, Царя храни» и «Спаси, Господи, люди Твоя». На стенах были расклеены приказы о мобилизации.

На следующий день я уже с трудом достал извозчика, чтобы ехать на вокзал; московский поезд был туго набит, все возбужденно говорило. Выйдя на одной из станций выпить рюмку водки, я ее не получил - водка оказалась с этого дня всюду запрещенной. По приезде в Москву мой первый вопрос к матери был - как она относится к войне. «Это война святая, с нашим исконным врагом», - ответила она. Вечером, проходя по Арбатской площади, я видел, как патриотически настроенная толпа с криками «ура» качала офицеров.

На следующее утро я записался добровольцем, а еще через день меня направили в Борисоглебск, в 6-й запасной кавалерийский полк, квартировавший в предместье города. Здесь мы, вольноопределяющие



ся, жили на частных квартирах в чистеньких белых мазанках. Помню, как после присяги нас повели в конном строю сначала к одному арсеналу, где мы получили шашки, потом к другому - пики, и наконец, к третьему - винтовки. Я чувствовал себя совершенно скованно: слева моталась шашка, справа на темляке - пика. Спину, особенно на рысях, больно колотила винтовка. Но уже через несколько дней я как-то приноровился: шашка удобно висела слева, пика - за правым плечом, а винтовка при любом аллюре плотно лежала на спине. Время шло однообразно - вставали мы при звуках трубы, игравшей «зорю» («Всадники-друзи, в поход собирайтесь»), ежедневно проводили учения то в конном, то в пешем строю, ездили на стрельбище, откуда возвращались со звонкими песнями.

Так продолжалось недели две. Затем нас вместе с конями погрузили в товарные вагоны и повезли на фронт. Не доезжая государственной границы, выгрузили, и мы пошли уже походным порядком. Я плохо помню этот путь, длившийся неделю. Вспоминаю только, как в страшную слякоть проходили через Замостье - никаких признаков войны. Зато в Галиции все переменялось, все дышало войной, всюду на дорогах валялись повозки, брошенные орудия, разбитые зарядные ящики - следы беспешного отступления австрийцев. В сентябре в районе Ярославля догнали мы наш 11-й Изюмский гусарский полк и включились в него.

«ВОЛЬНОПЕРЫ»

Мы, вольноопределяющиеся изюмцы, были знакомы и дружили еще с 6-го запасного полка. Двое из нас Сергеев и барон Розен были «пожилыми», за тридцать, остальным же было не более двадцати с небольшим. Сергеев был прежде помощником присяжного поверенного в Луцке, где в мирное время стоял Изюмский полк. Он увлекался верховой ездой, имел собственную лошадь и был знаком с большинством офицеров полка. Он оказался трусом, но, если можно так выразиться, честным трусом. И в запасном полку, и по пути в Действующую армию он несомненно искренне стремился сразиться с врагом России, но в первый же раз, попав под пули и разрывы, не выдержал. После этого он стал постоянно получать длительные командировки по делам полка в тыл, что было выгодно полку, так как поручения он выполнял на собственные деньги, будучи богатым человеком. Честным же трусом я назвал его потому, что он не скрывал своей боязни. В отличие от подлых трусов, он не рассуждал о том, что именно следует понимать под истинной храбростью, не украшал стены коллекцией различного оружия. Он был хороший семьянин и деликатный милый человек. Видел я его в полку нечасто.

Совсем другим был барон Розен - остзейский немец, любивший разыгрывать из себя русака. Еще в запасном полку, при сочувствии эскадронного командира, он говорил, что с удовольствием «вонзит пику в брюхо жирного пруссака». На деле же он был немцем до мозга костей, и даже разговаривал со своим знакомым остзейцем по-немецки до тех пор, пока я не заявил, что русскому солдату недопустимо говорить во время такой войны по-немецки. Много позже по дошедшим до меня слухам он, будучи офицером, перешел к немцам и передал им весь свой разезд.





*Граф Николай Алексеевич Бобринский,
офицер Туземной или, как ее называли чаще,
Дикой дивизии, автор мемуаров.
Фотография 1916 года.*

К вольнооперам, кроме меня, относилось еще четверо: караим Габай, мой большой приятель московский армянин Джамгаров, милейший цыганофил Балашов, который знал цыганские романсы и песни, говорил по-цыгански и утверждал, будто составил русско-цыганский словарь, и еще один бесцветный вольноопер. Мне в ту пору было 24 года.

К сожалению, наша теплая компания в непродолжительном времени распалась. Сергеев уехал в длительную командировку, Балашов был тяжело ранен стрелой с австрийского аэроплана (аэропланов тогда было мало, они занимались только разведкой, но во время полетов сбрасывали иногда на нас пучки коротких стальных стрел, которые, падая с высоты, достигали большой скорости и могли глубоко вонзаться в тело). Бедный Джамгаров получил ревматизм и страдал не столько от болей, сколько от мысли, что не сможет продолжать воевать и его отправят в госпиталь, что и случилось. Бесцветного вольноопределяющегося я не помню уже с Тернополя, а вскоре куда-то пропал и Габай.





Я ВОЮЮ БЕЗ БЕЛЬЯ

Поздней осенью 1914 года сестра Наталья прислала мне как-то теплые чесанки-сапоги, в каждом из которых был тонкий валеный чулок. Я сейчас же одел их и пошел к приятелю через небольшую замерзшую канаву. Но только встал на лед, как он проломился, и я выше колен провалился в холодную воду, которая попала и в сапоги. Пришлось возвращаться, чтобы переодеться, но только я добежал до своей халупы, как труба заиграла сбор.

Как был, в мокрых сапогах я сел на коня и стал в строй эскадрона. Нас тотчас повели в походном порядке, рядами по три. Вскоре ноги стали адски мерзнуть, словно в каждую глубоко втыкали иглы. Потом мы пошли облегченной рысью, и ногам стало как-будто немного легче, но затем снова перешли на шаг, и ноги опять стали нестерпимо болеть. Так мы ехали по крайней мере сутки переменным аллюром, когда на шаг я мечтал о рыси, а на рысях испытывал некоторое облегчение. На вторые сутки боль в ногах стала стихать, и только вечером на третьи сутки, когда мы достигли Тарнова, мне, наконец, удалось снять сапоги. Чесанки были совершенно сухи - они высохли на моих ногах.

Мы вошли в Тарнов сейчас же после его взятия. Город был залит светом, все магазины открыты, многочисленные толпы людей с любопытством глазели на нас с тротуаров. Жители многих домов демонстративно выставили в окна иконы - они хотели показать этим, что тут живут христиане, а не евреи. Все это говорило том, что мы в чужом городе, на войне.

В тот же вечер, согреваясь, я жестоко напился в компании однополчан-вольноперов. Ночью проснулся от позывов к тошноте, со мной случился «фридлих-хераус», и не очень-то соображая, что делаю, я выбросил испачканное белье в окно. И продолжал спать. Разбудили меня утром звуки трубы, игравшей сбор. Кинулся одеваться - белья нет. Натянул на голое тело штаны и остальное и выбежал на улицу. К подъезду скакал, держа на поводу коня, мой вестовой (вольноопределяющиеся в кавалерии имели на них право). Через минуту подъехали офицеры, и эскадрон, вытянувшись и звонко стуча подковами по мостовой, двинулся по улицам еще спящего города. Вскоре, хотя был лишь легкий мороз, я почувствовал озноб. Но к счастью, едва мы выехали за город, меня вызвал эскадронный командир и сказал, что эскадрон будет стоять на отдыхе в деревне. «У вас здесь в городе, кажется, работает в гошпитале сестра. Можете поехать к ней и явиться в эскадрон завтра».

Я поблагодарил, повернул коня. Гошпиталь еще был погружен в сон. Я послал заспанного санитаря вызвать сестру. Она пришла, страшно мне обрадовалась, накормила, напоила чаем, после чего повела в ванную. Еще наслаждаясь теплой ванной, я услышал стук в дверь и голос сестры: «Коля, я принесла чистое белье, дай, пожалуйста, твое, грязное». Я со смущением ответил, что у меня его нет. «Как, ты воюешь без белья?».

С тех пор в моей семье утвердилось представление, что я воюю без белья, и моя мать стала постоянно присылать мне чесучовое, которое, будто бы избавляет от вшей, что на самом деле в корне неверно...





ВПЕРВЫЕ ПОД ПУЛЯМИ

Была середина весны 1915 года. Снег почти всюду сошел, и земля успела просохнуть. Изюмский гусарский полк располагался на отдыхе в галицийской деревне в полусотне верст от линии фронта. Под вечер наш 6-й эскадрон был поднят по тревоге и выстроен. Командир ротмистр Филиппов подал команду: «Справа по три шагом ма-а-арш!» и повел нас переменным аллюром. Куда - ни гусары, ни взводные не знали. Утром прошли на рысях селение, протянувшееся вдоль шоссе. У въезда на шоссе высилась церковь, а напротив через дорогу стояли священники, благословляли нас наперсными крестами и кропили святой водой... Неприятная мысль шевельнулась во мне: «Зачем это нас преждевременно выронят!».

За церковью шоссе круто спускалось, извивалось версты полаты по обширному болоту и упиралось в реку - то ли Серет, то ли Сая. Позже я узнал, что задание наше состояло в том, чтобы переправиться по понтону на другую сторону реки, вдоль которой располагались австрийские окопы, занять стоящий неподалеку бугор, установить там два орудия и обстрелять из них австрийцев сзади. Задача рискованная, если не сказать больше...

Благополучно миновав болото, эскадрон остановился у самой реки. Мой 6-й взвод был в хвосте строя эскадрона. Пули стали жужжать чаще, и я обратился к соседу, веселому ветеринарному фельдшеру, с довольно неуместным вопросом: почему до сих пор у нас нет раненых? Фельдшер, однако, ничего не ответил, как-то странно опустил голову и весь обмяк - пока я спрашивал, он был убит наповал. Вскоре раздалась команда, поворотившая нас кругом, за ней - «рысью», а потом и «галопом ма-а-арш!»

Мы скакали по трое в ряд, пули продолжали визжать, в небе стали появляться двойные облачка, белое и розовое - разрывы австрийской шрапнели... Стрельба, мы уходим назад, а по бокам узкой дороги - всякая трясина... И как-то ощутилось, что вот-вот начнется паника! И тогда взводный - хорошо помню, что его звали Иван Иванович Животов - накинудся вдруг на ближайшего гусара: «Ты что, мерзавец, такой-сякой, мундштук не вычистил! Вот на стоянке постоишь у меня как следует под шашкой за такие дела...». Точно ушат холодной воды на головы. И сразу даже намек на панику как рукой сняло. Лошади скакали ровно, не сбаваясь, и вскоре мы вернулись в ту самую деревню, промчавшись мимо той самой церкви...

«ТРОФЕЙНЫЕ» ОРУДИЯ

С раннего утра два эскадрона Изюмского гусарского полка - 3-й и мой, 6-й, проводя глубокую разведку, нашли, между прочим, брошенные австрийские орудия. Командиры, не придав этому никакого значения, оставили их лежать на месте. Поздно вечером, едва мы вернулись в расположение полка и поужинали, как стали вызывать охотников - возвратиться к брошенным австрийским пушкам и охранять их до утра, когда за ними приедут. Высшее начальство сочло пушки трофеями и приказе-





их вывезти. Охотниками вызвались несколько человек, я в их числе.

Только глубокой ночью мы нашли «трофейные пушки» - ночь была безлунная, очень темная и мы долго блуждали. Выяснив время моего будущего дежурства, я разнуздal и привязал коня, бросил ему охапку сена, а сам завалился спать в соседнем сарае. Было уже светло, когда сменщик разбудил меня. Я вышел из сарая: рядом пушка, тут же мой конь, мирно жующий сено.

Было прохладное утро, лучи восходящего солнца играли на мокрых от росы крышах хат деревни. Совсем рядом стоял узкий, с высоким шпилем, костел, а несколько поодаль - чистый домик, видимо, дом ксендза, крытый красной черепицей, со стенами, увитыми плющом. Я решил посмотреть этот аккуратный домик и пошел к нему по выстланной кирпичом дорожке. Вошел на небольшую террасу, дернул ручку и... оказался в довольно большой комнате, сплошь заваленной австрийцами в их серо-голубой форме. Увидев меня, они подняли громкий и безалаберный гвалт.

Ошеломленный, я попятился назад. Возле дома шла женщина с ведрами и коромыслом. Я спросил, что это за дом? «Военный госпиталь, толерный...», - очень спокойно ответила она, продолжая свой путь. «Что я должен и что могу сделать?» - мелькнуло у меня в голове, и тут же я сам себе дал вполне определенный ответ: «Ничего!».

И я вернулся к «трофейной» пушке.

Я - ОФИЦЕР

Весной 1915 года я был произведен в офицеры - в прапорщики, но продолжал носить солдатскую форму, сменив лишь погоны, так как полк все время находился на линии фронта, где его перебрасывали с места на место и, наконец, поставили в Карпатах, на прикрытие артиллерии. Наступило относительное затишье, и я получил командировку во Львов на предмет обмундирования, но едва успел вернуться назад, в Изюмский полк, как мне сообщили, что пришел приказ об откомандировании части офицеров в пехоту. К этому времени в пехоте уже чувствовался острый недостаток офицеров, в кавалерии же их был избыток. Офицеры полка тянули жребий, и мне, к большой моей досаде, досталось откомандирование... Мне тут же вручили командировку обратно, во Львов, где я должен быть явиться в распоряжение «генерала для поручения».

Львов к этому времени уже успел сильно обрусеть. Несмотря на многочисленные «цукарни» (кондитерские или кафе), «друкарни» (книжные лавки) и вывески на польском языке, всюду слышалась русская речь и не только от наполнивших город наших военных, чиновников и сестер милосердия. В помещение лучшего ресторана Львова переехал тогда даже московский ресторан «Прага».

Я сразу же отправился к своему дяде¹, состоявшему кем-то вроде адъютанта при Львовском генерал-губернаторе (тоже нашем дальнем родственнике²), рассказал ему свое дело и попросил помочь. Дядя Димар внимательно выслушал, сказал подождать и пошел за разъяснениями в канцелярию. Вернувшись, он объяснил мне, что неохота кавалеристов идти в пехоту была заранее учтена, и поэтому существует ука-





зание, не допускающее никаких исключений. «Но, - добавил дядя, - сейчас во Львове набирают офицеров в Туземную дивизию, где сильно пострадал офицерский состав. Дивизией командует брат Государя, а ему закон не писан. Если ходатайство о твоём откомандировании пойдет за его подписью, то, конечно, отказа не будет. Тебе следует незамедлительно отыскать офицеров Туземной дивизии и уговориться с ними».

Я сейчас же отправился в лучший ресторан Львова, где, как говорили, бывают интересующие меня офицеры. И мне сразу же бросился в глаза стопроцентный черкес в черной черкеске со штаб-офицерскими погонами, белым бешметом, с газырями на груди и кинжалом на поясе. Представившись, я кратко отрапортовал ему мое дело. Он, любезно встав, внимательно меня выслушал, а потом произнес с сильнейшим акцентом: «Я по-русски не понимаю». Акцент, к моему удивлению, был отнюдь не кавказским, а чистейшим западно-европейским. Выяснилось, что это - англичанин по фамилии Коквуд, а что через час сюда придет ротмистр Татарского полка Туземной дивизии Альбрехт, который действительно приехал за столиком толстого кавказца с совершенно круглой головой и подстриженными усами. Он пил коньяк и после каждой рюмки свистел (у него была одышка). Это и был ротмистр Альбрехт по прозвищу Шар, как я узнал позднее. Я снова отрапортовал свое положение и ходатайство.

«Сегодня ехать можете?»

«Так точно!»

«Вечером тогда-то отходит поезд, вы найдете меня на вокзале.»

«Слушаюсь».

В ТАТАРСКОМ ПОЛКУ

Ночь я провел вместе с ротмистром Альбрехтом на сене в товарном вагоне. Он рассказал мне, что полк, как и вся дивизия, сформирован недавно, в основном из кавказских татар (так называли ныне-них азербайджанцев), что офицеры по большей части русские и грузины, так же, как и вахмистры, что полки - четырехсотенного состава, а в дивизии шесть полков. Татарский и Чеченский образуют одну бригаду, Черкесский и Ингушский - другую, Дагестанский и Кабардинский - третью.

Поезд шел медленно, постоянно останавливаясь на станциях, так что только к вечеру следующего дня мы доползли до нужной станции, где нас встретил корнет Татарского полка Джорджадзе с несколькими всадниками (так официально именовались нижние чины дивизии). Вскоре подъехали к высокому дому, выстроенному с покушениями на рыцарский замок, но оштукатуренному. Он был расположен на небольшом полуострове, который обтекала речка, образуя крутую петлю и оставляя узкую перемычку, по которой проходила дорога.

В большой комнате с длинным столом, уставленным бутылками и всякой снедью, в белых, черных, серых черкесках сидели в разных позах офицеры, все в папахах (в Туземной дивизии принято было не снимать папаху в помещении). Ротмистра Альбрехта встретили шумно и радостно, мы тут же очутились за столом. Я - рядом с высоким, стройным, сухощавым штаб-ротмистром, имевшем сергу в левом ухе и необыч-





ное для офицера бритое безусое лицо. Во главе стола сидел красивый подполковник с белокурой окладистой бородой. По правую руку от него, в серой черкеске, был очень молодой генерал-лейтенант - высокий, скорее худой, с очень коротко подстриженными усами. Я сразу догадался, что это был командир дивизии Великий Князь Михаил Александрович, брат Государя.

Мой сосед оказался временно командовавшим 4-й сотней штаб-ротмистром Трояновским. Он подтвердил, что молодой генерал - это Великий Князь, а во главе стола - командир полка Половцев. Потом сосед задал мне ряд вопросов о знакомых офицерах-изюмцах, и не успели мы разговориться, как он спросил - не соглашусь ли я поступить в его сотню. Чем я ему понравился, не знаю. Поблагодарив за честь, я не преминул принять предложение.

На следующее утро мы с Трояновским поехали в 4-ю сотню, стоявшую в ближайшем поселке. Нас встретил там оставшийся в сотне за





командира уже знакомый мне по встрече на станции корнет Митя Джорджадзе, с которым впоследствии я был очень дружен. День я провел с порученным мне 4-м взводом, а следующим утром меня с полувзводом отправили сменить заставу.

Ехали мы сперва открытыми местами, затем вошли в редкий лес. Всадники, в большинстве отсетины, пели какие-то песни и даже плясали в седлах, производя слаженные движения руками. Выехали на высокий крутой обрыв над рекой, и я увидел офицера, сидевшего за сколоченным из досок столиком и евшего курицу. Рядом сидели и лежали на земле несколько всадников, жаривших на углях шашлык. Это и была заставка.

Скомандовав «смирно!», я поздоровался с корнетом. Он, продолжая грызть куриную ногу, жестом пригласил меня занять место у стола. Так произошло знакомство с еще одним однополчанином (хоть убей, не могу вспомнить его фамилию!). Он тут же задал мне несколько вопросов: каких женщин я предпочитаю - брюнеток или блондинок, какое мясо курицы я больше люблю - белое или темное, и выслушав мои ответы, заявил: «Значит мы будем дружить - на равных, корнет!» - в кавалерии было принято в разговоре несколько повышать чин собеседника: прапорщиков называли корнетами, а штаб-ротмистров - ротмистрами. Действительно, мы не ссорились с ним на протяжении всей совместной службы, продолжавшейся, к сожалению, недолго. Он был убит в один день с Митей Джорджадзе.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Командира Кавказской Туземной дивизии, более известной под именем Дикой дивизии, я видел всего два раза. Впервые, когда он приезжал в наш полк в первый день моего прибытия туда - об этом я уже рассказывал, и второй раз, когда он провел у нас весь день - в саду штаба полка. Великий Князь был высок ростом и не то, что бы несколько худ, это лицо не подходит, а, я бы сказал, узок. У него были матовые усы. Держался брат Государя очень просто, был даже застенчив и малоразговорчив от стеснения. Говорил с небольшим петербургским акцентом. Словом, благовоспитанный европеец. У меня создалось впечатление, что в полку с ним мало считались.

ОФИЦЕРЫ ДИКОЙ ДИВИЗИИ

В Изюмском полку, имевшем свои офицерские кадры, я чувствовал себя выскочкой из «вольнопоров». Здесь же я был равноправным офицером, так как все офицеры по причине молодости полка были пришлыми - вся дивизия была сформирована в начале войны.

Командир полка подполковник Половцев прибыл из Занзибара, где имел кофейные плантации. Это был чрезвычайно богатый и несомненно талантливый человек, чуть ли не на пари поступивший в Академию Генерального штаба и блестяще ее окончивший, необыкновенно остроумный, писавший недурные стихи на полковые темы. Помню несколько



строк из его стихотворения, написанного на манер известных кавказских строк:

Нам каждый гость дарован Богом,
С какой бы ни был он звезды,
Хотя бы в рубище убогом,
Алаверды, Алаверды.

Алаверды - Господь с тобою -
Вот слова смысла, и с ним не раз
Готовился отважно к бою
Войной взволнованный Кавказ.

Звучит зурна, бренчит гитара,
Не умолкает барабан,
Наверно есть бутылок пара
и для приятеля стакан...

Помощник командира полка ротмистр Альбрехт приехал с Дальнего Востока, где служил в пограничной страже, куда попал, кажется, после какой-то истории из конногвардейцев. Я уже упоминал об англичанине Коквуде, который, как и полагается всякому англичанину, был большим любителем спорта, в частности, рыбной ловли. Полковым адъютантом был долго служивший в России и хорошо говоривший по-русски француз поручик Тетнуар. Командир 4-й сотни, отсутствовавший при моем вступлении в полк, ротмистр Ленко Магалов служил раньше в так называемой «кавказской гвардии» - в Нижегородском драгунском полку. Мило - было прозвище толстого добродушного прапорщика графа Милорадовича. Он имел майорат, был очень богат и всем охотно давал в долг по одной-две тысячи. Командир 3-й сотни штаб-ротмистр Хоранов прибыл в полк из Америки, где был простым рабочим на заводе, поставив перед собой цель изучить производство... Все это напоминало казачью вольницу, жило дружной семей. Все были на «ты», в том числе и командир полка, ходивший под уменьшительным именем Пит (его звали Петр).

Полковник граф Комаровский (Кики) прибыл в полк уже к концу войны. Мы его почему-то невзлюбили. Его в молодости хорошо знал мой дядя Н.Н. Львов, который говорил, что в то время Кики (его звали Юрий) был элегантным, остроумным, очень способным человеком, блестяще окончившим Академию. Я знал его уже сильно спившимся, заметно опустившимся. Кики нравилось воевать, и он часто упоминал, то эта война у него - уже пятая: он воевал против англичан в Бурскую войну, добровольцем же в 1912 году участвовал в Балканской войне, был еще на Китайской (усмирение китайцев) и Японской...

КОРНЕТ ДМИТРИЙ ДЖОРДЖАДЗЕ

Митя Джорджадзе был мой близкий друг. Нигде так не крепка дружба, как на войне. О Мите легко дать общее представление в двух словах - это был рыцарь в самом совершенном смысле слова. Он был храбр, благороден, превосходный товарищ, безукоризненно честный, высоко





державший честь полка и офицера. Конечно, у него, как и у всякого человека, должны были быть недостатки, но я, право, не могу вспомнить ни одного. Он был очень красив, с тонкими чертами лица, небольшими усиками и темно-карими с поволокой глазами. Был строен и обладал каким-то врожденным изяществом. Он пользовался общей любовью как товарищей-офицеров, так и всадников. Жили мы с ним душа в душу, но лишь неполных четыре месяца - с конца мая, когда я пришел в полк, и до 22 августа, когда был ранен. Он же погиб не следующий день, и погиб героически.

Когда я лежал в лазарете, Митя и тот корнет, имя которого я забыл, прислали мне записки. Оба ожидали завтрашнего боя, но по-разному. Записка Мити была грустная, он писал, что должен погибнуть, корнет же, напротив, был бодр и с надеждой ожидал боя. Оба были на следующий день убиты. Я долго хранил эти записки, потом они, к сожалению, затерялись.

МОЕ РАНЕНИЕ

Двое суток мы шли переменным аллюром. Двое суток не ели. Вечером спешили и заняли окопы вместе с дальневосточными пограничниками в шапках-ушанках - единственная тогда часть в армии, носившая такие головные уборы.

Утром я послал за водой на кухню и только стал приводить себя в порядок, как началась австрийская атака. Я, стоя и глядя в бинокль, руководил ружейным огнем - прекращал его, когда перед нами оказывались свои, и снова открывал огонь, когда появлялись австрийцы. В это время подбежал ко мне пограничник и сказал, что у них убиты все офицеры и некому командовать. Я сейчас же кинулся к ним, на правый фланг - австрийцы шли в атаку.

Помню, как один из них, припав на колени, выстрелил в меня (возможно, однако, что все было и не так). И тут я почувствовал, что меня словнохватили сзади по крестцу поленом. Сгоряча я сделал несколько шагов и свалился в окоп. Первая мысль была, что я ранен в ногу, но затем почувствовал, что не могу двинуть позвоночником - значит, он перебит, значит - смерть. Мысль эта не показалась мне страшной - я был очень разгорячен. Сейчас же подбежали два брата милосердия. Я лежал, вытянувшись на спине. Они меня перевязали, тут же обокрали: сняли револьвер и бинокль, уложили на носилки и понесли в штаб полка. Поминутно рвалась австрийская шрапнель, меня опускали на землю, я ругал их и требовал идти. Наконец, меня переложили на носилки, заправленные двумя ишаками и доставили в штаб полка.

Здесь меня встретил доктор Матвей, посмотрел рану и сказал, что я не нуждаюсь в перевязке. На грузовой машине повезли в тыл, в лазарет. Вскоре меня догнал денщик Кичкин и привез папиросы. Когда на остановках легко раненые выходили из машины, я лежал, прикуривая, и разговаривал с сестрами. К вечеру мы попали в большой лазарет какой-то Великой Княгини. Мне сделали перевязку и сказали, что дадут только одну чайную ложку воды. На другой день дали три чайные ложки. В этом госпитале я пролежал недели две, а потом меня и другого офицера, тоже раненного в живот (вот какое у меня оказалось ранение) повезли по





трясому шоссе в одноколке финляндского изготовления в Каменец-Подольск. Должно быть, с месяц пролежал я в Каменце. Затем нас по железной дороге отправили в Петропавловск. Помню, как нас несли на носилках в лазарет. По обеим сторонам стояли старушки, крестились и охали, глядя на нас. Одна из них, увидев меня, воскликнула; «Какой он бледный, должно быть, к вечеру скончается!». Там я тоже пролежал, кажется, месяц. Потом нас повезли в Киев, где меня встретила мать, которую Каменец-Подольский губернатор граф Игнатъев известил о моем ранении. Я уже настолько оправился, что мог ехать в классном вагоне.

В Москве меня осмотрел Алексей Ильич Бакунин, долго качал головой, хмурился. Но именно в Москве я начал быстро поправляться. Сначала ходил на костылях, и мне очень льстило, что барышни и дамы уступали мне в трамвае место, увидев мои костыли и нашивки на рукаве - в первую мировую войну раненные нашивали себе поперечную нашивку. Через месяц я уже смог вернуться в полк.

Я КОМАНДУЮ ВНОВЬ ПРИБЫВШИМ ВЗВОДОМ

В полку мне поручили сборную команду, составленную из только что прибывших с Кавказа «добровольцев». Почему всадники нашей дивизии считались добровольцами, мне до сих пор мало понятно, так как их выбирало местное начальство. Впрочем, это название, может быть, связано с тем, что в России мусульманское население Кавказа и Средней Азии не отбывало воинской повинности. Ясно лишь, что общество старалось избавиться от нежелательных элементов, выбирая их в «добровольцы». Так в нашей дивизии оказались отъявленные буяны, известные грабители - особенно много было именно абреков. Командовать взводом таких личностей, еще свеженьких, не знающих военной дисциплины, мне и было поручено.

Чуть ли не на следующий день, как я принял команду над этой шайкой разбойников, утром ко мне ворвался один из них, окровавленный и в страшном возбуждении, со сверкающими, как уголья глазами, размахивал руками и что-то кричал. Я вызвал переводчика и через него выяснил, что всадник пришел жаловаться на то, что его избил взводный. Я вызвал взводного Гончарова, который рассказал мне, как было дело: взводный (Гончаров) разделил хлеб, а всадник (его звали Ахмед Юсупоглы) счел себя обделенным, обиженным и ударил Гончарова. Тот, конечно, в долгу не остался. Свидетели подтвердили слова Гончарова, да и сам Ахмед не отрицал их справедливости.

«Как же ты смел ударить своего прямого начальника, - накинул я на Ахмеда. - Да я предаю тебя военно-полевому суду и тебя расстреляют».

Конечно, я не собирался отдавать всадника под суд, но примерно наказать его было необходимо. Великий Князь Николай Николаевич, тогдашний Главнокомандующий, разрешал офицерам в исключительных случаях прибегать к физическим наказаниям, проще говоря - к порке. Передо мной был, конечно, исключительный случай.

Я приказал поставить скамью, Ахмеду - снять черкеску и бешмет, то есть обнажить спину, и лечь на скамью животом, а трем всадникам - дать ему по спине десять ударов плетью. Удары были полноцен-





ные; очевидно, всадники сознавали вину товарища и считали наказание вполне заслуженным. Подчеркиваю, что штаны у него я приказал не трогать и бить только по спине, ибо знал, насколько оскорбительно для мусульман обнажать ягодицы. В полку много шума наделал случай, когда один офицер высек всадника по ягодицам, а тот не вынес обиды и застрелился...

Раз уж я упомянул о наказании провинившегося, скажу об этом еще несколько слов. Я считаю, что Великий Князь Николай Николаевич, разрешая офицерам в крайних случаях и в условиях войны прибегать к порке, был вполне прав и спас тем самым не одну тысячу, а может и быть десятки тысяч людей от расстрела. Я сам иногда пользовался этим крайним средством, зато горжусь, что за всю войну не отдал под военно-полевой суд ни одного нижнего чина, хотя поводов к этому было много.

Военно-полевой суд состоял из трех офицеров, его решения кассации не подлежали. А приговор выносился в трехдневный срок и мог быть тройкого рода: оправдать, расстрелять или повесить (последнее применялось только к позорным преступлениям - шпионаж, предательство, измена).

Так что же нужно было делать офицеру, если он находил, например, уснувшего на посту часового? Простить такое, понятно, невозможно. По Уставу такого нижнего чина следовало предать полевому суду, где ему обеспечен расстрел. Не гуманнее ли просто хорошенько выругать его и набить морду! Кстати, в таких случаях, я никогда не бил кулаком, а только ладонью.

...Я спрашивал советских офицеров, что, по их мнению, следует сделать, если боец после приказа не поднимается в атаку, а продолжает, как заяц, лежать в воронке? Ответ бывал один: «Ударить нельзя. Надо вынуть револьвер и застрелить на месте как изменника». Легко сказать - застрелить своего же! Я этого сделать не могу. Ударить с силой, может быть, даже ногой в бок, если лежит, нахлестать по щекам, наконец, пригрозить пистолетом... Так - могу и не раз поступал в необходимых случаях. И многие мальчишки-трусы становились потом отличными бойцами.

Вообще, у нашей интеллигенции существует какое-то, я бы сказал, глупое понятие об оскорбительном, о чести. Многие, например, считали унижительным для себя раздеться догола перед врачебной комиссией. Считаю, что в этом деле всегда нужно учитывать место и время, обстоятельства...

Помню такой случай. Приехал я как-то во время войны офицером, помнится, уже поручиком в Москву и загулял так, что три дня не являлся домой. Когда на четвертый день я пришел, мать стала меня - конечно, вполне правильно - укорять, почему я не дал знать хотя бы по телефону, что не буду ночевать дома. Сидевшая здесь же тетя Мисси³, сестра отца, кончившая в Англии курсы сестер милосердия, восьми пудов весом и очень сильная, смеясь, подозвала меня, и когда я подошел, дала мне такую затрещину, что у меня глаза на лоб полезли - и все это смеясь. Потом вторично подозвала меня и влепила такую затрещину, что холодный пот выступил на лоб. «Будешь помнить, как напрасно волновать мать?» «Буду, тетя Мисси!» - сказал я и, действительно, на всю жизнь запомнил эти две затрещины...





НЕУДАВШАЯСЯ СВАДЬБА

Ротмистр Трояновский, тот самый, что в первый же день приезда пригласил меня в свою сотню, задумал жениться. Он назначил заранее день венчания, предупредив всех о его дате, дабы было время приготовить торжественный обед. Из церкви, которая была всего в нескольких сотнях шагов от офицерского собрания, размещавшегося в здании школы, Трояновский с молодой женой под клики поздравлений прошел в столовую. Молодые сели за стол, за ними - все мы. По правую руку Трояновского села его жена, я - рядом с ней.

Начался пир горой. После первых же бокалов многие офицеры пошли плясать и стрелять из пистолетов - особый кавказский шик. Один из лучших плясунов поручик Кочакидзе, уже выпустив несколько зарядов в потолок, вошел в азарт, нагнулся в пляске, продел руку с пистолетом между ног и еще раз выстрелил вверх. И тут раздался крик молодой. Я взглянул на нее и увидел кровь в боку...

Трояновский вскочил, схватившись за голову. Веселье, разумеется, тут же прекратилось. Можно представить себе состояние всех, а особенно виновного! Помню, как уже поздно вечером бывший командир Чеченского полка Фази Каджар, в то время уже командир бригады, экстренно вызванный в полк в связи с несчастным случаем, тихо сидел на ступеньках офицерского собрания, охватив голову руками и тихо раскачиваясь...

К счастью, все обошлось более или менее благополучно. Когда полк ушел, Трояновский остался с женой, которая очень скоро поправилась. История забылась, а поручик Кочакидзе отделался счастливо.

ВЕСНОЙ 1917 ГОДА

Весной 1917 года я уже командовал 4-й сотней. С конца февраля моя сотня и 3-я, под командой Шервашидзе, стояли верстах в восьми от штаба полка, на отдыхе.

После тяжелых боев в Румынии, как и после всякого серьезного испытания, связанного с опасностью, мы пребывали в состоянии особенного спокойствия и жизнерадостности. Дело было в Бессарабии, жили мы хорошо, вина было вдоволь - мы привезли его из Румынии. Я был старше Шервашидзе, и по кавалерийской традиции кормил офицеров обеих сотен. Местные помещики постоянно приглашали нас всем полком, мы ездили к ним со своим хором трубачей, устраивали балы, где до упада танцевали. Вместе с нами был тогда и уже упомянутый командир бригады Фази Каджар, произведенный в генералы. Хотя он был русский подданный, но принадлежал к дому Каджаров, из которого был тогда и Персидский шах. Очевидно поэтому Фази носил титул принца и титуловался светлостью. Был он беден, жил на свое жалование и был женат на сестре хана Нахичеванского.

Однажды, в первых числах марта, ко мне в сотню приехал какой-то мелкий чиновник, кажется, чтобы купить лошадь у Арчила Джорджадзе. Мы его, конечно, хорошо угостили, он разболтался и стал вдруг говорить, что Царя больше нет, что власть перешла не то к Государственной Думе, не то к Временному правительству. Мы удивленно переглянулись, но не придали его словам никакого значения.





Мы продолжали жить в полном неведении о происходивших тогда событиях. Лишь через несколько дней, когда я утром ездил по расположению сотни и проверял ковку лошадей, мы узнали правду.

Из-за угла переулка показался вдруг ротмистр Колюбакин, который еще раньше уехал в штаб полка, и теперь, хоть был и старше меня чином, быстро шел, чуть ли не бежал ко мне, крича что-то... «Наверное, ты получил поручика...», высказал предположение бывший со мной офицер, я действительно ожидал тогда производства.

Однако речь шла о другом. Когда мы стали поближе друг к другу, Колюбакин снова закричал, и тут я разобрал его слова: «Царя больше нет, власть захватило Временное правительство во главе с князем Львовым...».

Мы онемели...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Владимир Алексеевич Бобринский (дядя Димар) - известный думский деятель, одно время заместитель М.В. Родзянки. В Думе был известен, как «Бобринский 2-й».

2. Георгий Алексеевич Бобринский приходился отцу троюродным братом. Он относился к старшей, петербургской ветви Бобринских.

3. София Алексеевна Бобринская была старшей дочерью в семье, а таких в Англии именуют просто «мисс» или «мисси» без упоминания имени. В семье деда моего отца господствовал английский дух.

*Публикация и примечания графа
Николая Николаевича Бобринского.*

